

Если уж делить всех поэтов — условно! — на поэтов мысли и поэтов чувства, то Зульфат, конечно, окажется во втором «лагере». Его чувства, переживания, малейшие движения души (до чувствований и предощущений) порой уплотняются, материализуются до детали и даже вырастают в целый сюжет:

*Когда воюют счастье и печаль
В душе, как два враждебных государства, —
То лёд и пламень бьются — два меча, —
И кажется, предела нет мытарствам.*

*Но хуже, если в облике друзей,
Беседуя без шума и без крика,
Средь бела дня по улице моей
Печаль и счастье шествуют в обнимку...*
(Пер. Р. Кожевниковой)

Столь обострённое внимание к душе обусловлено у Зульфата, по всей видимости, пониманием того, что только ей по силам преодолеть *неизбежное*, переступить за грань этого мира. Рассудок же, мысль — только поводыри, помощники в человеческой жизни:

*Когда я вижу трепет леса,
Взывать к рассудку бесполезно —
Я чувствую в час листопада,
Что исчезаю — и исчезну...*
(Пер. Л. Газизовой)

Но даже читая такие «безнадёжные», казалось бы, строки, душа не обнимается холодом смерти, ужаса, а, благодаря теплу близкой души поэта, как бы преодолевает его. Хотя стихов об уходе, о распаде у Зульфата столь много, что впору вспомнить строки романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева»: «В силу чего русской душе так мило, так отраднo заустение, глушь, распад?». Видимо, татарской душе — тоже, что лишний раз подтверждает нашу с русским людьми духовную общность, созданную веками совместного общежития.

Перед лицом «распада» понятны попытки поэта ухватить, запечатлеть, увековечить миг жизни:

*Весенний ветер веет...
И под настом
Стать половодием снега спешат!
...А вечером — журчанье,
и прекрасен
в паденье торопливом снегопад!*
(Пер. Л. Газизовой)

Эти строки стихотворения «Весна» рисуют не просто пейзажную картинку, а состояние души. Момент предстояния души перед вечностью оказывается некой *точкой*, с высоты которой происходит оценка человеческих ценностей, жизни, всего бытия. И эта *точка*, этот *миг* — сами по себе категории вечностные, поскольку являются понятиями сущностными.

У Зульфата есть даже стихотворение с таким названием — «Точка»:

*Нырни, уйди в мечты! И пусть же — вся! —
Явь словно сон нелепый исчезает.
Пускай замёрзшая душа твоя
Оттаёт и уже не замерзает!*

*Вот с этого момента жить начнёшь,
И жизнь твоя веками будет длиться,*

*Все чувства неувядшими найдёшь.
Мечтай! И волшебство тогда случится.*

*Пуускай дивятся всюду и всегда.
К мечтателям, и нежным, и мятежным,
Смерть не придёт... но будет точка, да...
Которая растает неизбежно.*

(Пер. Л. Газизовой)

Итак, точкой оказывается мечта, призванная осуществить оттаивание души в мерзлоте существования. У Зульфата это не умозрительно-отвлечённая идея, не фикция, это *момент*, с которого начинается приобщение к истинной жизни, к вечно-му существованию души. «Чувства не увядшие» бурлят в ней, парадоксально образуя взрывную смесь *нежности* и *мятежности*. И что такое смерть для такой души? Всего лишь точка, которая «растает неизбежно». Быть может, с такой изначальной точки началась когда-то целая Вселенная? Вот и твоя душа развернётся в иное бытие — и начнётся всё с самого начала. Таковы пространства *мечты* поэта, которой, возможно, с годами найдутся и вполне научные обоснования.

В поэтическом мире Зульфата важными оказываются те пространства, в которых душа *витает*, — в изначальном, старославянском, высоком значении этого слова: «жить, получать приют, пребывать где-нибудь» («Словарь церковнославянского языка» А. Х. Востокова). Прежде всего — весна. Что она значит для поэта, мы уже отчасти сказали при разговоре об одноимённом стихотворении. Этим словом открывается и стихотворение «Тишина» — одно из лучших как у Зульфата, так и вообще в современной татарской лирике. Весна оказывается мигом пробуждения человека, его души, моментом её возвращения в те нивы, откуда она пришла в юдоль земную. Для Зульфата — это пространство вселенской тишины и пространство весны-мечты:

*Весной однажды я во тьме проснусь
В минуту пробужденья вешних почек
И вдаль уйду, исчезну, растворюсь
В той тишине, что в сны приходит ночью...*

*И дремлющему озеру в лесу
Я истолкую всё, что только снится,
У тучки из озёрных снов спрошу
Легко и просто: «Как дела, сестрица?!»*

*И ласточка над озером, как вздох,
Взлетит, а тень её на дне растает.
Заговорю на языке цветов,
На языке ветров раскрою тайны...*

*Плеснётся в мои мысли свет берёз,
Вольётся в мою нежность шелест листьев.
Ответь задавшим обо мне вопрос:
«Ушёл в весну свою, не возвратится...»*

О суетной земле я свой рассказ,
О том, как жил здесь, тишине доверю.
Лишь мимоходом навестил я вас –
Дорожная одежда – возле двери.

Отправляюсь в путь единственный, когда
Дыханьем тишина меня коснётся.
И, словно повторяя тень со дна,
Над водной гладью ласточка вззовётся...

(Пер. Р. Кожевниковой)

Всё здесь есть, чем характеризуется лирика Зульфата: естественность поэтической интонации (о самом важном сказано по-человечески просто, ясно); тончайший лиризм самовыражения, получающийся под пером поэта из той самой парадоксальной смеси нежности и мятежности; мотив полного, без остатка, растворения в природе, в мироздании; мотив ухода, смерти, решённый в унисон есенинскому смысломотиву «в этом мире я только прохожий». И даже «кольцевое» решение темы указывает на близость к Есенину. К слову, у Зульфата вообще много есенинского, но не в «подражательском» смысле, не столько даже в тематике, сколько в глубинном — в лиризме, обусловленном думами о душе.

Возвращаясь к рассматриваемому стихотворению, отмечу, что, при всём риске сопоставления поэтов, «кольцо» у Зульфата призвано выразить принципиально иную точку зрения. В середине стихотворения ласточка, образом которой оно завершается, сравнивается со «вздохом». А финал произведения оборачивается как бы новым «вздохом», продолжением жизни души.

Но устремлённая в неведомые и лишь *предчувствуемые* ею выси, душа поэта не забывает о земном. Будучи «нездешних нив жилицей» (С. А. Есенин), она насыщается мигами, картинками, переживаниями, которыми её питает реальность. Этим мотивируется стиль поэта, который иначе, как *живописующим*, не назовёшь. То, как он кладёт поэтические «мазки», мне более всего напоминает манеру художника А. А. Пластова: ярко, красочно, я даже сказал бы — знойно-красочно. Чувствование реальности столь экспрессивно, что доведено до детали. Жизнь познаётся во всей её полноте и многообразии, полнокровно — всеми органами чувств. Даже если речь идёт *всего-то*, казалось бы, о *запахе хлеба*:

На потрескавшуюся от зноя
землю,
ударяясь о жёлтую стерню,
падают налитые зёрна.
Задевая горячие усики кузнечика,
остаются на широких листьях осота.
Волглый ветерок с лесных полей
легче паутинки,
и похожий на прозрачный стяг лета,
колышет марево горизонта.

Хлеб...

*Каравай, прижатый к груди матери
перед тем, как разломать, обжигаясь,
на куски,
обдающий белым душистым парком
порозовевшие мамины щёки,
губы в улыбке.*

Ах, хлеб...

*у солдата, упавшего навзничь
на развороченный взрывом бруствер
посреди красного снега,
в котомке за спиной
застывшая за сутки краюха.*

*Собака пытается перевернуть
безжизненное тело.*

Ах, запах хлеба...

(Пер. Р. Кожевниковой)

Это стихотворение даёт возможность наглядно увидеть своеобразие развития поэтического образа у Зульфата. Вначале мы видим реалистическую, выписанную до «усиков кузнечика», картину наливающейся зноем хлебной нивы. Затем образ хлеба, как некий сигнал, вызывает воспоминание о детстве, о матери. Это уже психологическая картинка, овеванная памятью, оттого обретающая в некотором смысле мифическое, даже символическое значение — символ согретого материнством детства. Обогатившись этим значением, опять-таки в реалистической картине с погибшим солдатом хлеб входит в противостояние со смертью. И сюжет становится глубоко символичным. Казалось бы, можно ставить точку: стихотворение стало до боли пронзительным по звучанию. Но поэту этого мало: ведь не со смертью он связывает образ хлеба. Хлеб для него — символ Жизни. Для выражения этой поэтической мысли ему и понадобился образ собаки, переворачивающей труп ради краюхи хлеба — чтобы выжить. И две-три финальные строчки решают всё. Подобный приём является типологической особенностью поэтического почерка. Последние строки «взрывают» эмоционально-смысловой пласт стихотворения, в чём проявляется «мятежность» лирики поэта — при всей её сердечности, сокровенности, интимности, «нежности»:

*Ушла, единым взглядом обвинив,
И вёсны унесла навек с собою.
Лишила меня солнца и луны,
У сердца отняла всё дорогое.*

*Без неба, без дыханья, без тепла
Я умереть желал безумно!
Но даже смерть с собой ты унесла,
И я... не умер.*

(Пер. Р. Кожевниковой)

Такова, по Зульфату, сила любви, её жизнедарующая, жизнеспасительная роль в жизни человека. Любовная лирика поэта требует к себе особого внимания, поскольку в его стихах лирический герой ничем не прикрыт, душа его оголена, отчего искренность поэта, а также мужество самораскрытия не вызывают сомнений. Поэт и человек (автор) в стихах Зульфата совершенно нераздельны, что и рождает лирические строки высокого накала и звучания.

Любовь всё-таки является для поэта основой его гармонии с миром. Но обретается эта гармония путём пламенного горения души. А мотив огня, горения является сквозным в творчестве Зульфата:

*В дрожащем пламени костров осенних есть
Своя печальная особенная весть...
Остались поцелуи на губах — пылать!..
Осталась жажда глубоко в сердцах пылать!..
Да, было время — полыхал большим огнём,
На ветке вербы заливался соловьём,
Врывался в дали золотистые стремглав,
Парил свободно во владениях орла,
И у безбрежных рек мне был доступен яр!..
Всё в прах...
Костёр осенний — сердце...*

(Пер. Р. Кожевниковой)

Таков костёр души поэта и человека. Но с годами в стихах начинают полыхать вполне реальные костры, как, например, в стихотворении «Горим!». В нём картины лесных пожаров, символически сопряжённые с трагическими событиями в Хиросиме, Нагасаки, перерастают в пожар эпохальный, пожар времени, когда горит всё человеческое. Несмотря на глобально символическое решение темы, стихотворение не отрывается от реалистической первоосновы: всё происходит на самом деле, на глазах, и явь предстаёт во всём своём ужасе. Взгляд поэта эпохален, его дар словно прозревает будущее — недавнюю трагедию наших дней, случившуюся спустя годы после смерти автора этих строк:

*Урман могучий, как сама эпоха?
...Как будто вниз сорвался самолёт
Из пламени
в ответ
услышал
грохот...
— Горим!
Горим!
Горим!
Горим!*

(Пер. Р. Кожевниковой)

Кто, читая эти строки, не вспомнит о повсеместных лесных пожарах или о крушении «Боингов», в том числе, и с 50-ю пассажирами на борту под Казанью... Что-то зловеще неотвратимое, предопределённое есть во всём этом... И — изводящая душу тоска...

В чём спасение? Быть может, действительно — в возвращении к своим истокам, корням, к «малой родине», где, как зерно, наливаются жизненной силой душа, сердце человеческое:

*Здесь радость дышит в каждом колоске
И волны ржи у кромки леса тают.
Как тосковало сердце вдалеке,
До мелочей тебя припоминая,
Мой край родной! Я на тебя смотрю,
И тополя, расправив свои кроны,
Встречают вновь вечернюю зарю.
Вот-вот подует ветер, листья тронув,
И звёзды тихо соскользнут в траву...*

И — финальные строки, которые придают изображению сугубо «зульфатовское» решение такой, казалось бы, избитой, деревенской темы:

*Запомнить всё до звуков и тонов,
И унести навек в душе с собою!..*
(Пер. Р. Кожевниковой).

Здесь тема «малой родины» предстаёт не только в свете идеально-ценностного, но и никогда неотторжимого от человека, вечностного начала — того, что и после жизни он унесёт с собой в «край целований молчаливых» (М. И. Цветаева).

Зульфат, конечно же, поэт философский. Одной из центральных тем его творчества является проблема взаимоотношений человека и космоса. Причём холодный космос (вечность) у него утеплён, оживлён присутствием человека, его дыханием. Более того — требует этого:

*Небо,
полное звёздного роя,
Посмотри,
ночью, словно живое!
И пульсирует космос
и ждёт:
Все секреты твои — тронь рукою.*

Степень оживления неживого космоса столь высока, что здесь речь нужно вести не о простом олицетворении, а именно о его *одухотворении*, потому и разговор с ним идёт на равных — от сердца к сердцу, от души к душе:

*Небу долго смотрю я в глаза,
И, мне кажется,
вижу в них слёзы.
Где ты? Крикнуть,
тебя бы позвать
издалёка под светлые звёзды...*

По сути, небо и сердце поэта — одно и то же: сердце его столь же необъятно. Поэтому и цитируемое здесь стихотворение «Небо, полное звёздного роя...» столь проникновенное по звучанию, решено в интонациях любовного признания и томления. Впрочем, стихотворение — столь же о небе, сколь и о *Ней* — одно от другого в поэтической системе Зульфата неотделимо:

*Сердце,
полное звёздного роя,
И горит, и болит —
ведь живое!*

*Бьётся гулко в груди,
ждёт и ждёт:*

Все секреты твои — тронь рукою.

(Пер. Р. Кожевниковой)

Неотделимы для поэта нежность и мятежность человеческого сердца! Неотделимы и немислимы душой в их отдельности человек и вселенная!

Рамиль САРЧИН

